

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 12

ВОЙНА И МИР

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
12. Война и мир. Том четвертый**

«Библиотечный фонд»

1863-1869, 1873

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 12. Война и мир. Том четвертый
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1863-1869,
1873 — (Весь Толстой в один клик)

© Толстой Л. Н., 1863-1869, 1873
© Библиотечный фонд, 1863-1869,
1873

Содержание

Лев Николаевич	5
Предисловие к электронному изданию	6
ВОЙНА И МИР	9
ВОЙНА И МИР (1863—1869, 1873) ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ	10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.	10
I.	10
II.	12
III.	14
IV.	16
V.	19
VI.	21
VII.	23
VIII.	25
IX.	28
X.	29
XI.	31
XII.	33
XIII.	36
XIV.	38
XV.	41
XVI.	43
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.	47
I.	47
II.	48
III.	50
IV.	51
V.	52
VI.	53
VII.	55
VIII.	56
IX.	57
X.	60
XI.	62
XII.	64
XIII.	66
XIV.	68
Конец ознакомительного фрагмента.	69

**Лев Николаевич
Толстой
Полное собрание сочинений. Том
12. Война и мир. Том четвертый**

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1940

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы: [Государственный музей Л.Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АBBYY](#)

Подготовлено на основе электронной копии 12-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам info@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

L É O N T O L S T O Ï

O E U V R E S C O M P L È T E S

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE DE

V. T C H E R T K O F F

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:

N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, M. KORNEFF,
N. MESTCHERIAKOFF, N. PIKSANOFF,
N. RODIONOFF, M. TSIAYLOVSKY

SANCTIONNÉ PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:

S. LOSOVSKY, A. TOLSTOÏ, A. FADEEFF,
P. TCHAGUINE

PREMIÈRE SÉRIE

O E U V R E S

TOME

12

E D I T I O N D ' É T A T

M O S C O U — 1940

Л. Н. Т О Л С Т О Й

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОДОВЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ:

Н. Б. ГУДЗИЯ, Н. Н. ГУСЕВА, М. М. КОРНЕВА,

Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА, Н. Б. ПИСАНОВА,

Н. С. РОДИОНОВА, М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

В СОСТАВЕ: С. А. ЛОЗОВСКОГО, А. Н. ТОЛСТОГО,

А. А. ФАДЕЕВА, П. И. ЧАГИНА.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ

12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1940

Перепечатка разрешается безвозмездно.

—

Reproduction libre pour tous les pays.

ВОЙНА И МИР

РЕДАКТОРЫ:

Г. А. ВОЛКОВ

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

ВОЙНА И МИР (1863—1869, 1873) ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

В Петербурге, в высших кругах, с бóльшим жаром чем когда-нибудь шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шопотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом, изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.

У Анны Павловны 26-го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического, духовного красноречия. Прочсть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиную всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.

Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом.

Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.

– On dit que la pauvre comtesse est très mal. Le médecin dit que c'est l'angine pectorale.

– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible!

– On dit que les rivaux se sont reconciliés grâce à l'angine...¹ Слово *angine* повторялось с большим удовольствием.

– Le vieux comte est touchant à ce qu'on dit. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a dit que le cas était dangereux.

– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante.

– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала подходя Анна Павловна. – J'ai envoyé savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde,² – сказала Анна Павловна с улыбкой над своею восторженностью. – Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m'empêche pas de l'estimer, comme elle le mérite. Elle est bien malheureuse,³ – прибавила Анна Павловна.

Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление тому, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.

– Vos informations peuvent être meilleures que les miennes,⁴ – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C'est le médecin intime de la Reine d'Espagne.⁵ – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и видимо собираясь распустить ее, чтобы сказать *un mot*,⁶ говорил об австрийцах.

– Je trouve que c'est charmant!⁷ – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену Австрийские знамена, взятые Витгенштейном, *le héros de Pétropol*⁸ (как его называли в Петербурге).

– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышанья *mot*, которое она уже знала.

И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:

– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – *drapeaux amis et égarés* qu'il a trouvé hors de la route,⁹ – закончил Билибин, распуская кожу.

– Charmant, charmant,¹⁰ – сказал князь Василий.

– C'est la route de Varsovie peut-être,¹¹ – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал

¹ Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная ангина. – Ангина? О, это ужасная болезнь! – Говорят, что соперники примирились, благодаря ангине...

² Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный. – О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина, – Вы говорите про бедную графиню? Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире,

³ Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна,

⁴ Ваши сведения могут быть вернее моих,

⁵ Но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб-медик королевы испанской.

⁶ [остроту,]

⁷ Я нахожу, что это прелестно!

⁸ Героем Петрополя,

⁹ Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.

¹⁰ [Прелестно, прелестно,]

¹¹ Это варшавская дорога может быть.

эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может выйдет очень хорошо», думал он, «а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно-патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднеся ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло:

– Всемиловейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа *своего*», – вдруг ударил он на слове *своего*, – «яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.

Билибин рассматривал внимательно свои ногти и многие видимо робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шопотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф?...» – прошептала она.

Князь Василий продолжал:

«Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща Российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждающей его гордыни. Сей образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезнующ, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицемерием. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да Всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».

– Quelle force! Quel style!¹² – слышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

– Vous verrez,¹³ – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.

II.

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви, и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана Творцу благодарность за Его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе всё утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.

Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около какого-нибудь частного случая. Так теперь, главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских и в числе их названы были Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона

¹² Какая сила! Какой слог!

¹³ Вы увидите,

события невольно в здешнем, петербургском мире, сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

– Чтò я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.

Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.

– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим *protégé* Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того к вечеру этого дня как будто всё соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка *angine pectorale*,¹⁴ но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как *le médecin intime de la Reine d'Espagne*¹⁵ предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства, для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.

Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, гибели Кутайсова и смерти Элен.

На третий день после донесения Кутузова, в Петербург приехал помещик из Москвы и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время *visites de condoléance*,¹⁶ которые ему делали по случаю смерти его дочери, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, чтò он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.

– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.

Пока известие это было еще не официально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:

«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров, для препровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах ваших предков. Я последую за армией. Я всё вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».

Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:

«Князь Михаил Иларионович! С 29-го августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1-го сентября получил я через Ярославль, от Московского главнокомандующего, печальное извещение, что вы решились с армией оставить Москву. Вы сами можете вообра-

¹⁴ ангины,

¹⁵ Лейб-медик королевы испанской

¹⁶ визитов соболезнования,

зять действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».

III.

Девять дней после оставления Москвы, в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, но *quoique étranger, Russe de coeur et d'âme*,¹⁷ как он сам говорил про себя.

Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по-русски, чувствовал себя всё-таки растроганным, когда он явился пред *notre très gracieux souverain*¹⁸ (как он писал) с известием о пожаре Москвы, *dont les flammes éclairaient sa route*.¹⁹

Хотя источник *chagrin*²⁰ г-на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:

– *M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel?*

– *Bien tristes, sire*, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – *l'abandon de Moscou*.

– *Aurait on livré mon ancienne capitale sans se battre*,²¹ – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.

Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, именно то, что под Москвою драться не было возможности и, что так как оставался один выбор – потерять армию и Москву, или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.

Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.

– *L'ennemi est-il en ville?* – спросил он.

– *Oui, sire, et elle est en cendres à l'heure qu'il est. Je l'ai laissée toute en flammes*,²² – решительно сказал Мишо; но взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажнились слезами.

Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо:

– *Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive*, – сказал он, – *que la Providence exige de grands sacrifices de nous... Je suis prêt à me soumettre à toutes Ses volontés; mais dites moi, Michaud, comment avez-vous laissé l'armée, en voyant ainsi, sans coup férir, abandonner mon ancienne capitale? N'avez-vous pas aperçu du découragement?*..²³

Увидав успокоение своего *très gracieux souverain*,²⁴ Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.

¹⁷ впрочем хотя иностранец, но русский в глубине души,

¹⁸ [наш всемилостивейший повелитель]

¹⁹ пламя которой освещало его путь.

²⁰ [горе]

²¹ Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник? – Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы. – Неужели отдали мою древнюю столицу без битвы?

²² Вступил ли неприятель в город? – Да, ваше величество, и в настоящую минуту Москва обращена в пепел. Я оставил ее объятую пламенем,

²³ Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что Провидение требует от нас больших жертв... Я готов покориться Его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?

²⁴ [всемилового повелителя.]

– Sire, me permettez-vous de vous parler franchement en loyal militaire? – сказал он, чтобы выиграть время.

– Colonel, je l'exige toujours,²⁵ – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est.²⁶

– Sire! – сказал Мишо с тонкою чуть заметною улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots.²⁷ – Sire! j'ai laissé toute l'armée depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte épouvantable, affrayante...²⁸

– Comment ça?²⁹ – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront-ils abattre par le malheur... Jamais!..³⁰ – Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.

– Sire, – сказал он с почтительною игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majesté par bonté de coeur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brûlent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver à Votre Majesté par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont dévoués...³¹

– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз, сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel.³²

Государь, опутив голову, молчал несколько времени.

– Eh bien, retournez à l'armée,³³ – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites à nos braves, dites à tous mes bons sujets partout où vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai, moi-même, à la tête de ma chère noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'à la dernière ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent,³⁴ – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut écrit dans les decrets de la Divine Providence,³⁵ – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dût cesser de régner sur le trône de mes ancêtres, alors, après avoir épuisé tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croître la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutôt, que de signer la honte de ma patrie et de ma chère nation, dont je sais apprécier les sacrifices!..³⁶ – Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку ниже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя покраснелось и глаза горели блеском решимости и гнева.

– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut-être qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir... Napoléon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne

²⁵ Государь, позвольте ли вы мне говорить откровенно, как подобает прямому воину? – Полковник, я всегда этого требую.

²⁶ Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.

²⁷ [игры слов.]

²⁸ Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе...

²⁹ Как так?

³⁰ Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей... Никогда!..

³¹ Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, на сколько они вам преданы!..

³² Вы меня успокаиваете, полковник.

³³ Ну, так возвращайтесь к армии.

³⁴ Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков, и истощу таким образом последние средства моего государства. Этих средств больше, нежели думают мои враги,

³⁵ Но если бы предназначено было божественным провидением,

³⁶ чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор, и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..

pouvons plus régner ensemble. J'ai appris à le connaître, il ne me trompera plus...³⁷ – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо, – quoique étranger, mais Russe de coeur et d'âme – почувствовал себя, в эту торжественную минуту, – enthousiasmé par tout ce qu'il venait d'entendre,³⁸ – (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.

– Sire! – сказал он, – Votre Majesté signe dans ce moment la gloire de sa nation et le salut de l'Europe!³⁹

Государь наклоном головы отпустил Мишо.

IV.

В то время как Россия была до половины завоевана и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополчение за ополчением поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди, от мала до велика, были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасти отечество или плакать над его гибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянии, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это только так потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени, и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей. А между тем в действительности те личные интересы настоящего в такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе не замечен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели всё наизусть, и всё, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не дошедшая до раненых и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды и человек играющий роль в историческом событии никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.

Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губерниях, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отмстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантке и тому подобное...

Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без

³⁷ Полковник Мишо, не забудьте того, что я вам сказал здесь; может быть мы когда-нибудь вспомним об этом с удовольствием... Наполеон или я... Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет...

³⁸ Хотя иностранец, но русский в глубине души, почувствовал себя в эту торжественную минуту восхищенным всем тем, что он услышал,

³⁹ Государь! ваше величество подписывает в эту минуту славу своего народа и спасение Европы!

отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов, и другие, а что он слышал, что комплектуют полки и что должно быть драться еще долго будут и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.

По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонт для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.

За несколько дней до Бородинского сражения, Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.

Только тот, кто испытал это, то-есть, пробыл несколько месяцев, не переставая, в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидел деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими зрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз всё это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, это были женщины, молодые, здоровые, за каждую из которых не было десятка ухаживающих офицеров и которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.

В самом веселом расположении духа, Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал всё то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто на чисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.

Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который видимо забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.

От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький, живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за 20 верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.

– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашею матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.

Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за 20 верст на завод к помещику. Всё, в это первое время пребывания его в Воронеже, было для Николая весело и легко, и всё, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, всё ладилось и спорилось.

Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист-холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.

Николай в два слова купил за 6 тысяч 17 жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.

Переодевшись, надушившись и облив голову холодной водой, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: *vaut mieux tard que jamais*,⁴⁰ явился к губернатору.

Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы, и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.

Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы, и что, как и во всем, что происходило в то время в России, заметна была какая-то особенная размашистость – море по колено, трын-трава всё в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.

Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.

Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.

Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: *vaut mieux tard que jamais*,⁴¹ его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь после долгого лишения опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старики с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца-повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника и называла его «Nicolas» и «ты».

Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своею ловкостью всё губернское общество. Он удивил даже всех своею особенною, развязною манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своею манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличием, *mauvais genre*⁴² такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем-нибудь необыкновенным, чем-нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.

Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и милую блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они, хотя не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся, то-есть, Николай с женой этого мужа. Муж однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался

⁴⁰ лучше поздно, чем никогда,

⁴¹ [лучше поздно, чем никогда]

⁴² [дурным тоном]

веселому настроению духа Николая. К концу вечера однако, по мере того, как лицо жены становилось всё румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось всё грустнее и солиднее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того, как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.

V.

Николай, с несходящею улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.

Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своею дамой и собою и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.

– Какую же?

– Прелестную, божественную. Глаза у нее (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна... – он глядел на плечи, – стан – Дианы...

Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.

– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.

Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.

– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил так называть тебя?

– О да, ma tante.⁴³ Кто ж это?

– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее... Угадаешь?..

– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.

– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь в Воронеже с теткой. Ого, как покраснел! Чтò, или?..

– И не думал, полноте, ma tante.

– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!

Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.

– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.

Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отца, которого видимо не любила Мальвинцева, и расспросив о том, чтò Николай знал о князе Андрее, который тоже видимо не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.

Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье, Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.

Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и сказав, что ей нужно поговорить с ним,

⁴³ [тетушка].

повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.

– Знаешь, *mon cher*, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького, доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь я тебя сосватаю?

– Кого, *ma tante*? – спросил Николай.

– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твой *мамап* благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.

– Совсем нет, – как бы обидевшись сказал Николай. – Я, *ma tante*, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.

– Так помни же: это не шутка.

– Какая шутка!

– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что, еще, *mon cher*, *entre autre*. *Vous êtes trop assidu auprès de l'autre, la blonde*.⁴⁴ Муж уж жалок право...

– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого-нибудь не весело.

«Что я за глупость сказал однако губернаторше!» вдруг за ужином вспомнилось Николаю. «Она точно сватать начнет, а Соня?...» И прощаясь с губернаторшей, когда она улыбаясь еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:

– Но вот что, по правде вам сказать, *ma tante*...

– Что, что мой друг; пойдем вот тут сядем.

Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые не рассказал бы и матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспомнил об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела однако для него очень важные последствия, казалось (как это и всегда кажется людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него, и для всей семьи его, огромные последствия.

– Вот что, *ma tante*. *Мамап* меня давно женить хочет на богатой; но мне мысль одна эта противна, жениться из-за денег.

– О да, понимаю, – сказала губернаторша.

– Но княжна Болконская, это другое дело; во-первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило: это судьба. Особенно подумайте: *мамап* давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как-то всё так случалось: не встречались. И в то время, когда моя сестра Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтоб я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё... Да вот что. Я никому не говорил и не скажу. А вам только.

Губернаторша пожала. его благодарно за локоть.

– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней... Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.

– *Mon cher, mon cher*⁴⁵, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твой *мамап*? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены... Нет, *mon cher*, ты и Софи должны понять это.

⁴⁴ мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той белокурою.

⁴⁵ Дружок мой

Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.

– Всё-таки, *ma tante*, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять она теперь в трауре. Разве можно об этом думать!

– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. *Il y a manière et manière*,⁴⁶ – сказала губернаторша.

– Какая вы сваха, *ma tante*... – сказал *Nicolas*, целуя ее пухлую ручку.

VI.

Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника, – всё это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца, и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, всё сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергся ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособною; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.

Когда на другой день после своего вечера, губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, всё-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.

В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он придет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своею порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плёрёзы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно-холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.

Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.

– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.

⁴⁶ На все есть манера,

Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновение голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостною улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские, грудные звуки. M-lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Сама искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.

«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» думала m-lle Bourienne.

Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более чем m-lle Bourienne удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидела это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг, когда зажигается свет внутри росписного и резного фонаря, с неожиданною поражающею красотой выступает на стенках та сложная, искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная, внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – всё это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.

Ростов увидал всё это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.

Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонить разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.

Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет слишком близкий ее сердцу и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственною ему проницательною наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.

Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.

Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша всё-таки продолжала свое дело сватовства и передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.

Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.

Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он это чувствовал) непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье, было бы то, что он называл подлостью. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.

После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда-то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни – белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, тапан и рара, их отношения с ней и т. д. и т. д.; и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то всё выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.

VII.

Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).

Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг всё стало скучно, досадно в Воронеже, всё как-то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про всё это и чувствовал, что только в полку всё ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.

Несколько дней пред отъездом Ростова, в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.

– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.

Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из-под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.

Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его

обращение к ней здесь в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всею душой соболезнует ему. Едва только она услышала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.

– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.

Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.

– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой), бывает или смертельна сейчас же, или напротив очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен...

Княжна Марья перебила его.

– О, это было бы так ужа... – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и всё, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.

Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома с тем чтобы покончить некоторые счета с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.

Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен тою особенною, нравственною красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать и ему в голову не приходило пожалеть о том, что, уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.

«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел!» говорил он сам с собою. «Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» – И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если бы он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину и всё это было просто и ясно, именно потому, что всё это было выдуманно, и он знал всё, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.

Мечтания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.

«Как она молилась!» вспомнил он. «Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно?» вспомнил он. «Что мне нужно? Свободы, развязки с

Соней. Она правду говорила» – вспомнил он слова губернаторши, – «кроме несчастья ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе тамап... дела..., путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения!» начал он вдруг молиться. «Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром и выбегали на двор пробовать, делается ли из снега сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими-то бумагами.

– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.

– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.

– Ну, хорошо, спасибо, ступай!

Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.

– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его, стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился с уверенностью, что Бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что-то необыкновенное и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от Бога, Которого он просил, а от обыкновенной случайности.

Тот, казавшийся неразрешимым узел, который связывал свободу Ростову, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время, всё это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.

«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня благодетельствовало», – писала она, – «и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что, несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».

Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и гибель всего состояния. В письме этом между прочим графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасное, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа как сиделки ухаживают за ним.

С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но, благодаря этому письму, Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.

На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.

VIII.

Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте всё больше и

больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони, последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.

Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбою о том, чтоб она, пожертвовав собою, отплатила бы за всё, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.

– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.

Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает всё, что она на всё готова, но не дала прямого обещания, и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собою для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собою для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства и она привыкла и любила жертвовать собою. Но прежде, во всех действиях самопожертвованья, она с радостью сознавала, что она, жертвуя собою, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других, и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтоб отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе, и всё-таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства, Соня, невольно выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решила ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.

Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что Бог не хочет того, чтоб она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь сведенные вместе, при таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства Провидения в ее личные дела, радовало Соню.

В Троицкой Лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.

В гостинице Лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из-за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.

– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.

Наташа подошла под благословенье и настоятель посоветовал обратиться за помощью к Богу и Его Угоднику.

Тотчас после ухода настоятеля, Наташа взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.

– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – всё по старому. Только бы он был жив. Он не может... потому что, потому... что... – и Наташа расплакалась.

– Так! Я знала это! Слава Богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!

Соня была взволнована не меньше своей подруги и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она рыдая целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» думала она. Поплавав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.

Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты и видно было, как он ровно дышал.

– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.

– Чтò? чтò? – спросила Наташа.

– Это то, то, вот... – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.

Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, чтò ей говорили.

– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела... В Отрадном, на святках... Помнишь, чтò я видела?...

– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что-то о князе Андрее, которого она видела лежащим.

– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь по мере того, как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она *видела* тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, чтò ей пришло в голову; но то, чтò она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, чтò она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.

– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.

– Но чтò же это значит? – задумчиво сказала Наташа.

– Ах, я не знаю, как всё это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.

Через несколько минут князь Андрей позвонил и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.

В этот день был случай отправить письма в армию и графиня писала письмо сыну.

– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николинке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз, Соня прочла всё, чтò разумела графиня под этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.

Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.

– Я напишу, тата, – сказала она.

Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем, Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка, она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные, черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.

IX.

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношениях к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.

Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане, караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только 17-го из содержащихся за чем-то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что-нибудь особенное в Пьере, то только его не робкий, сосредоточенно-задумчивый вид, и французский язык, на котором он удивительно для французов хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными людьми, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.

Все русские, содержащиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его тем более, что он говорил по-французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и вероятно он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо-превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которою обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.

Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и: привели его к желаемой цели, т. е. к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности, или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагично-

стью, что он нес к родителям ребенка, *qu'il avait sauvé des flammes*.⁴⁷ – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что... Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара. Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.

– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным румяным лицом.

На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.

Пьера с 13-ю другими отвели на Крымский Брод в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.

В каретном сарае дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все, содержащиеся здесь, ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата очевидно маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.

Эти первые дни до 8-го сентября, дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжёлые для Пьера.

Х.

8-го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которою с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно штабный, с списком в руках, сделал переключку всем русским, назвав Пьера: *celui qui n'avoie pas son nom*.⁴⁸ И равнодушно, и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими 13-ю повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, всё, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри, с печами и трубами, и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое-где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалика с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Новодевичьего монастыря, и особенно-звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник Рождества Богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.

Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни, Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами, шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого-то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по

⁴⁷ спасенного им из пламени.

⁴⁸ тем, который не хочет назвать своего имени.

веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе вернулись к нему в форме наименования его: *celui qui n'avoue pas son nom*.⁴⁹ И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда-то, с несомненною уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожною щепкой, попавшею в колесо неизвестной ему, но правильно действующей машины.

Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.

Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галлерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.

Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какою-то бумагой, лежавшею пред ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил: *Qui êtes vous?*⁵⁰

Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своею жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде, чем Пьер успел на что-нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.

— Я знаю этого человека, — мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтоб испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову как тисками.

— *Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu...*

— *C'est un espion russe,*⁵¹ — перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе, Пьер вдруг быстро заговорил:

— *Non, Monseigneur,* — сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. — *Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaître. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitté Moscou.*

— *Votre nom?* — повторил Даву.

— *Besouhof.*

— *Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas?*

— *Monseigneur!*⁵² — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба. они в эту одну

⁴⁹ тем, который не хочет назвать своего имени.

⁵⁰ — Кто вы такой?

⁵¹ — Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас... — Это русский шпион.

⁵² — Нет, ваше высочество, ... Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. — Ваше имя? — Безухов. — Кто мне докажет, что вы не лжете? — Ваше высочество.

минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.

– Comment me prouverez vous la vérité de ce que vous me dites?⁵³ – сказал Даву холодно.

Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.

– Vous n'êtes pas ce que vous dites,⁵⁴ – опять сказал Даву.

Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.

Но в это время вошел адъютант и что-то доложил Даву.

Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он видимо совсем забыл Пьера.

Когда адъютант напомнил ему о пленном, он нахмурившись кивнул в сторону Пьера и сказал, чтоб его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.

Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

– Oui, sans doute!⁵⁵ – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.

Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами, вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился.

Одна мысль за всё это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же наконец приговорил его к казни? Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и очевидно не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот очевидно не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это наконец казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.

XI.

От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежее-выкопанною землею, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большего числа Наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него,

⁵³ – Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?

⁵⁴ – вы то, что вы говорите,

⁵⁵ – Да, разумеется!

желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет 45-ти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик очень красивый с окладистой, русою бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет 18-ти, в халате.

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять, по одному или по два? – По два, – холодно-спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат и заметно было, что все торопились и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтоб окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.

Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор.

Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один всё крестился, другой чесал спину и делал губами движение подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

12-ть человек стрелков с ружьями мерным твердым шагом вышли из-за рядов и остановились в 8-ми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видеть того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами, и эти двое смотрели на всех, тщетно одними глазами, молча, прося защиты и видимо не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять, как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью-то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба, – дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает наконец? Они все страдают, так же, как и я. Кто же? Кто же?» на секунду блеснуло в душе Пьера.

– *Tirailleurs du 86-me, en avant!*⁵⁶ – прокричал кто-то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со всё возрастающим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его повели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтоб его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими, и как подстреленный зверь оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же, как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одною босою ногой о другую.

⁵⁶ Стрелки 86-го полка, вперед!

Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.

Должно быть послышалась команда, должно быть после команды раздались выстрелы 8-ми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах, и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились, и фабричный, неестественно опустив голову, и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все очевидно-несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на всё тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул, на Пьера, чтоб он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. 24 человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво-бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, всё еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он как пьяный шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча с опущенными головами.

— *Ça leur apprendra à incendier,*⁵⁷ — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.

ХII.

После казни, Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером, караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу, балаганам, и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали,

⁵⁷ Это научит, их поджигать,

но не соображал того, кто слушает его, и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души, Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти.

Вокруг него в темноте стояли люди: верно что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он наконец очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

– И вот, братцы мои... тот самый принц, *который* (с особенным ударением на слово который)... – говорил чей-то голос в противоположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. На только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своею простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел согнувшись какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте с своими ногами и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим, движениями, разувшись, человек развесил свою обувь на колушки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

– Э, соколик, не тужи, – сказал он с тою нежно-певучею лаской, с которою говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то, милый мой.

А живем тут, слава Богу, обиды нет. Тоже люди и худые, и добрые есть, – сказал он и, ещё говоря, гибким движением за перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то.

– Ишь, шельма, пришла! – услышал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла, шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собаченку, прыгающую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке.

– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнееющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

– Чтò ж, так-то? – улыбаясь сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

– Картошки важнееющие, – повторил он. – Ты покушай вот так-то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

– Нет, мне всё ничего, – сказал Пьер, – но за чтò они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

– Тс, тц... – сказал маленький человек. – Греха-то, греха-то... – быстро прибавил он и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Чтò ж это, барин, вы так в Москве-то остались?

– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.

– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

– Нет, я пошел на пожар, а тут они схватили меня, судили за поджигателя.

– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.

– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

– Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

– Ты кто же, солдат?

– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

– Чтò ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.

– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он видимо с тем, чтоб облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик!. Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложет, а сам прежде того пропадает: так-то старички говаривали, – прибавил он быстро.

– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.

– Я-то? – спросил Каратаев. – Я говорю не нашим умом, а Божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть полная чаша! И хозяйка есть? А старики-родители живы? – спрашивал он и, хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки, в то время как он спрашивал это. Он видимо был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять видимо огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж люди молодые, еще даст Бог, будут. Только бы в совете жить...

– Да теперь всё равно, – невольно сказал Пьер.

– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы, да от тюрьмы никогда не откажешься. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготавливаясь к длинному рассказу. – Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе Богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случись... – и Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. – Чтò ж, соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, а радость! Брату бы итти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам-пят ребят, а у меня,

гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства Бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшей, дома. Батюшка и говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, всё больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы итти. Позвал нас всех – веришь – поставил пред образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата, кланяйтесь. Поняли? говорит. – Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытацишь – ничего нету. Так-то. – И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

– Чтò ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал, вздохнул и сел на свою солому. – Вот так-то. Положи, Боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.

– Ась? – проговорил Платон (он было уже заснул). Читал чтò? Богу молился. А ты разве не молишься?

– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружу слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новою красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе.

ХIII.

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было 23 человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидел своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие, нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за 50 лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выказывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (чтò он часто делал), были все хороши, и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и всё тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он видимо никогда не думал о том, чтò он сказал и чтò он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил – «положи, Господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «лег свернулся, встал встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он всё умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, точал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расхотиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он видимо отбросил от себя всё напущенное на него чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему крестьянскому, народному складу.

– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он.

Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и видимо-дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большею частию неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то, и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтоб уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла,

как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

XIV.

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, не трудно ли, возможно ли, невозможно ли это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать всё возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то это княжна Марья объясняла или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.

В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной, княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m-lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.

Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей очень труден и, около Рязани, где (как говорили) показывались французы, даже опасен.

Во время этого трудного путешествия, m-lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавших ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.

В последнее время своего пребывания в Воронеже, княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполнила всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные, не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу-любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.

Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие, в одном отношении, давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.

Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.

Когда посланный вперед гайдук, чтоб узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно-бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.

– Всё узнал, ваше сиятельство: Ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, – сказал гайдук.

Княжна Марья испуганно-вопросительно смотрела в его лицо, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M-lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну.

– Что князь? – спросила она.

– Их сиятельство с ними в том же доме стоят.

«Стало быть, он жив», подумала княжна и тихо спросила, – что он?

– Люди сказывают: всё в том же положении.

Что значило «всё в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где-то. Загremели откидываемые подножки.

Отворились дверцы. Слева была вода – река большая, справа – крыльцо; на крыльце были люди, прислуга, и какая-то румяная, с большою черною косою, девушка, которая неприятно-притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбающаяся девушка сказала: сюда, сюда! и княжна очутилась, в передней перед старою женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была старая графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.

– Mon enfant! – проговорила она, – je vous aime et vous connais depuis longtemps.⁵⁸

Несмотря на всё свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня, и что надо было ей сказать что-нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие-то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: – что он?

– Доктор говорит, что нет опасности, – сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза вверх, и в этом жесте было выражение, противуречащее ее словам.

– Где он? Можно его видеть, можно? – спросила княжна.

– Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? – сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. – Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!

Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m-lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменялся с тех пор, как его в последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он видимо потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.

Несмотря на одно желание поскорее увидеть брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется – увидеть его – ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала всё, что делалось вокруг нее и чувствовала необходимость на время подчи-

⁵⁸ Дитя мое! я вас люблю и знаю давно.

ниться этому новому порядку, в который она вступила. Она знала, что всё это необходимо, и хотя, ей было это трудно, но она не досадовала на них.

– Это моя племянница, – сказал граф, представляя Соню, – вы не знаете ее, княжна?

Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело от того, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.

– Где он? – спросила она еще раз, обращаясь ко всем.

– Он внизу, Наташа с ним, – отвечала Соня краснея. – Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?

У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях слышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.

Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.

Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.

На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выражение жалости, страдания за других и страстного желанья отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему, не было в душе Наташи.

Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла всё это, и с горестным наслаждением плакала на ее плече.

– Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, – проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она всё поймет и узнает.

– Что... – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать всё яснее и глубже.

Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении – сказать или не сказать всё то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какую она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарывав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла всё.

Но она всё-таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:

– Но как его рана? Вообще в каком он положении?

– Вы, вы... увидите – только могла сказать Наташа.

Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты с тем, чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.

– Как шла вся болезнь? Давно ли ему было хуже? Когда *это* случилось? – спрашивала княжна Марья.

Наташа рассказала, что первое время была опасность от горячечного состояния и страдания, но у Троицы это прошло, и доктор боялся одного – Антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала всё, что касалось нагноения и т. п.) и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна. – Но два дня тому назад, – начала

Наташа, – вдруг *это* сделалось... – Она удержала рыдания. – Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.

– Ослабел? похудел?.. – спрашивала княжна.

– Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить, потому что...

XV.

Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыдания. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидеть его.

Княжна Марья понимала то, что Наташа разумела словами: *с ним случилось это два дня тому назад*. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала в детстве, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания всё ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидела его лицо и встретила с ним взглядом.

Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом, беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.

Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг удержала быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохла и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватою.

«Да в чем же я виновата»? спросила она себя. – «В том, что живешь и думаешь о живом, а я»!.. отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоко, не из себя, а в себя смотревшем взгляде, была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

Он поцеловался с сестрой, рука в руку, по их привычке.

– Здравствуй, Мари, как это ты добралась? – сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

– И Николушку привезла? – сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминания.

– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.

– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, – сказал он и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил):

– Merci, chère amie, d'être venue.⁵⁹

Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом, – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он видимо с трудом

⁵⁹ Спасибо, милый друг, что приехала.

понимал всё живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишен силы понимания, но потому что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего.

– Да, вот как странно судьба свела нас! – сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. – Она всё ходит за мной.

Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно-оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было всё равно, и всё равно от того, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему.

Разговор был холодный, несвязный и прерывался каждую минуту.

– Мари проехала через Рязань, – сказала Наташа. – Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.

– Ну что же? – сказал он.

– Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы...

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он очевидно делал усилия, чтобы слушать, и всё-таки не мог.

– Да, сгорела, говорят, – сказал он. – Это очень жалко, и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.

– А ты встретила, Мари, с графом Николаем? – сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. – Он писал сюда, что ты ему очень полюбила, – продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. – Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо... чтобы вы женились, – прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения кроме того, что доказывали, как страшно далек он был теперь от всего живого.

– Что обо мне говорить! – сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.

– André, ты хоч... – вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, – ты хочешь видеть Николушку? Он всё время вспоминал о тебе.

Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла по ее мнению последнее средство для приведения его в чувство.

– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?

–

Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и очевидно не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удержаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

– Ты о Николушке? – спросил он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

– Мари, ты знаешь Еван... – но он вдруг замолчал.

– Что ты говоришь?

– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

—
Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой, он постарался вернуться назад в жизнь и пере-
неся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко!» подумал он. «А как это просто!

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их», сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; «но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они — *не нужны*. Мы не можем понимать друг друга!» и он замолчал.

—
Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять всё значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он всё понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десалея, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще более своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне всё то, что сказала ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращая душою к тому Вечному, Непостижимому, Которого присутствие так ощутительно было теперь над умирающим человеком.

XVI.

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и, — по той странной легкости бытия, которую он испытывал — почти понятное и осязаемое.....

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним, и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая, когда у нас нет любви, стоит между жизнью и смертью.

Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полу-бреду перед ним явилась та, которую он желал и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидел Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его теперь мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить это.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: *это сделалось с ним*, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя, нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком, лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только-что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное). Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движение – клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыхание.

В Троицкой Лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он благодарил бы вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть?» думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только за тем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтоб я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему, и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

– Вы не спите?

– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

– Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

– А я? – Она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.

– Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

– Как бы хорошо! – И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие. —

– Однако вы не спали, – сказала она, подавляя свою радость. – Постарайтесь заснуть... пожалуйста.

Он выпустил, пожав, ее руку, и она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая он думал всё о том же, о чем он думал всё это время – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» думал он.

«Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Всё, всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Всё есть, всё существует только потому, что я люблю. Всё связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть, – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то не доставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, является перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что всё это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать, и всё заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, но ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но всё-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *она*. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, уже надавливая с другой стороны, ломится в нее. Что-то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть *смерть*. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение», вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не

интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно-медленном, пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и, последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем – за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растревлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собою. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо.

Его исповедывали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся не потому, чтоб ему было тяжело и жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это всё, что от него требовали; но когда ему сказали, чтоб он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать.

Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.

– Кончилось?! – сказала княжна Марья, после того как тело его уже несколько минут, неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложила к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем.

«Куда он ушел? Где он теперь...?»

Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться и все плакали.

Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг.

Наташа и княжна Марья теперь тоже плакали, но они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.

—

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнув в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте – исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, т. е. в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, всё равно понимать значение исторического события так или иначе. Но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают на чем держится земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее и других планет. Причин исторического события – нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.

После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю – так называемый фланговый марш за Красною Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому собственно она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого-нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, – весьма трудно понять. Во-первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находится там, где больше продовольствия, не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской дороге. Итак нельзя понять, во-первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что-то глубокомысленное в этом маневре. Во-вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтоб это движение было тому причиною.

Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Чтò бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красною Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Чтò бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Чтò бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских, хотя бы с одною десятою долей той энергии, с которою он атаковал в Смоленске? Чтò бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях, спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.

В-третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же, как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением, вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.

На совете в Филях, у русского начальства преобладающею мыслью было само собою разумевшееся отступление по прямому направлению назад, т. е. по Нижегородской дороге. Докладательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведывавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях, и что в случае отступления на Нижний, запасы провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через которую перевоз в перевозимые бывает невозможен. Это был первый признак необходимости отклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам, заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных, дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно это предвидели.

II.

Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая всё прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.

Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.

Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии, и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился, в то время как получил письмо государя.

Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.

Заслуга Кутузова состояла не в каком-нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один – тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть расположен к наступлению – он один все силы свои употреблял на то, чтоб удержать русскую армию от бесполезных сражений.

Подбитый зверь под Бородиным лежал там где-то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.

Стон этого раненого зверя французской армии, обличитель ее погибели, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.

Наполеон с своею уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то, что ему пришлось в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла.

«Monsieur le prince Koutousov, писал он, j'envoie près de vous un de mes aides d camps généraux pour vous entretenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que votre Altesse ajoute foi à ce qu'il lui dira, *surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particulière considération que j'ai depuis longtemps pour sa personne.* Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutousov, qu' Il vous ait en Sa sainte et digne garde.

Moscou, le 30 Octobre, 1812. Signé:

Napoléon».⁶⁰

«Je serais maudit par la postérité si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. *Tel est l'esprit actuel de ma nation*»,⁶¹ – отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтоб удерживать войска от наступления.

В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным, совершилось изменение в отношении сил обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения приходявшие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии,

⁶⁰ «Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов, для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу вашу светлость верить всему, что он вам скажет, *особенно когда станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени.* За сим молю Бога о сохранении вас под Своим священным кровом. Москва, 30 октября, 1812. Наполеон».

⁶¹ «Я был бы проклят, если бы на меня смотрели, как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки: *такова воля нашего народа*».

так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор пока французы были в Москве, и – главное – неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь, и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.

III.

Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И, для разрешения встречавшихся трудностей, присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.

Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или, напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что-нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.

В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Беннигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более чем обыкновенно сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях, предметом интриг большею частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, т. е. никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрецаиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.

«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2-го октября, в письме, полученном после Тарутинского сражения. – С 2-го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20-го; и в течение всего сего времени, не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10 000-й корпус подвигается к Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25-е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностью, напротив того, можно полагать, что он вас преследует отрядами, или по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодой атаковать неприятеля слабее вас и истребить одного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний,

ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожения сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».

Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.

2-го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак смеясь рассказывал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услышав этот рассказ, сообщил его командиру.

Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтоб отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.

— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Бенигсен.

Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и, отдав приказание на то, что он считал бесполезным и вредным — благословил совершившийся факт.

IV.

Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5-е октября.

4-го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.

— Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, — сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в Аустерлицкой диспозиции было написано, хотя и не по-немецки:

«Die erste Colonne marschirt⁶² туда-то и туда-то, die zweite Colonne marschirt⁶³ туда-то и туда-то,» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и

⁶² Первая колонна идет

⁶³ вторая колонна идет

уничтожали неприятеля. Всё было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.

Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.

– Уехали, – отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.

– Нет, и генерала нет.

Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.

– Нет, уехали.

«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда-то, кто говорил, что он верно опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было, и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что должно быть и Ермолов там.

– Да где же это?

– А вон, в Ечкине, – сказал казачий офицер, указывая на далекий, помещичий дом.

– Да как же там, за цепью?

– Выслали два полка наших в цепь. Там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.

Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услышал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.

– «Во-олузах... во-олузах!..» с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему, приказа. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфете и в передней сутились лакеи с винами и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидел вдруг всех вместе важных генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными, оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы, красивый, невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделял трепака.

– Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..

Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидел его и, узнав зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.

– Ты думаешь, это он нечаянно уехал? – сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. – Это шутики, это всё нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!

V.

На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился Богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислуши-

ваясь, нет ли справа выстрелов, не началось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведущих на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», подумал старый главнокомандующий. Но проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказа о выступлении не было.

– Как не бы... – начал Кутузов, но тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезши из коляски, опустив голову и тяжело дыша, молча ожидая, ходил он взад и вперед. Когда явился потребованный офицер генерального штаба Эйхен, Кутузов побагровел не оттого, что этот офицер был виною ошибки, но оттого, что он был достойный предмет для выражения гнева. И трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эйхена, угрожая руками, крича и ругаясь площадными словами. Другой подвернувшийся капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.

– Это что за каналья еще? Расстрелять! Мерзавцы! – хрипло кричал он, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти, как он, он поставлен в это положение – поднят на смех перед всею армией. «Напрасно так хлопотал молиться о нынешнем дне, напрасно не спал ночь и всё обдумывал!» думал он о самом себе. «Когда был мальчишкой-офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мной... А теперь!» Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками: но скоро силы его ослабели, и он, оглядываясь, чувствуя, что много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад.

Излившийся гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты (Ермолов сам не являлся к нему до другого дня) и настояния Бенигсена, Коновницына и Толя о том, чтобы то же неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.

VI.

На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с чернолиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бречанье артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было; некоторые (большинство) колонны шли целую ночь и очевидно зашли не туда, куда им надо было.

Граф Орлов-Денисов с казаками (самый незначительный отряд из всех других) один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса, на тропинке из деревни Стромилевой в Дмитровское.

Перед зарею, задремавшего графа Орлова разбудили. Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер-офицер корпуса Понятовского. Унтер-офицер этот по польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером, что он храбрее всех, и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них, и что ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов-Денисов посоветовался с своими товарищами. Предложение было слишком

лестно, чтоб отказаться. Все вызывались ехать, все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Греков с двумя казачьими полками решился ехать с унтер-офицером.

– Но помни же, – сказал граф Орлов-Денисов унтер-офицеру, отпуская его: – в случае ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку, а правда – сто червонцев.

Унтер-офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести начинавшего брезжить утра, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догорающих костров. Справа от графа Орлова-Денисова, по открытому склону должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда; но, несмотря на то, что издали они были бы заметны, колонн этих не было видно. Во французском лагере, как показалось графу Орлову-Денисову, и особенно по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться.

– Ах, право поздно, – сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает, после того как человека, которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер-офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит всё дело атаки отсутствием этих двух полков, которых он заведет Бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего?

– Право он врет, этот шельма, – сказал граф.

– Можно воротить, – сказал один из свиты, который почувствовал так же, как и граф Орлов-Денисов, недоверие к предприятию, когда посмотрел на лагерь.

– А? Право?.. как вы думаете, или оставить? Или нет?

– Прикажете воротить?

– Воротить, воротить! – вдруг решительно сказал граф Орлов, глядя на часы, – поздно будет, совсем светло.

И адъютант поскакал лесом за Грековым. Когда Греков вернулся, граф Орлов-Денисов, взволнованный и этою отмененною попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые всё не показывались, и близостью неприятеля (все люди его отряда испытывали то же), решил наступать.

Шопотом прокомандовал он: садись! Распределились, перекрестились...

– С Богом!

Урааааа! зашумело по лесу, и одна сотня за другою, как из мешка высыпаясь, полетели весело казаки с своими дротиками на перевес, через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего казаков француза, и всё, что было в лагере, недетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей, и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата, и всё что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же 1500 человек пленных, 38 орудий, знамена, и что важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к рукам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже подраться между собой: всем этим занялись казаки.

Французы, не преследуемые более, стали опоминаться, собрались командами и принялись стрелять. Орлов-Денисов ожидал все колонны и не наступал дальше.

Между тем по диспозиции: «die erste Colonne marschirt»⁶⁴ и т. д., пехотные войска опоздавших колонн, которыми командовал Бенигсен и управлял Толь, выступили как следует и, как

⁶⁴ первая колонна идет

всегда бывает, пришли куда-то, но не туда, куда им было назначено. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали останавливаться; послышалось неудовольствие, сознание путаницы, двинулись куда-то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и опоздали, кого-то бранили и т. д., и наконец, все махнули рукой и пошли только с тем, чтоб итти куда-нибудь. — «Куда-нибудь да придем!» И действительно пришли, но не туда, а некоторые и туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении играл роль Вейротера в Аустерлицком, старательно скакал из места в место, и везде находил всё наыворот. Так он наскочил на корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен был быть там, с Орловым-Денисовым. Взволнованный, огорченный неудачей и полагая, что кто-нибудь должен быть виноват в этом, Толь подскочил к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницей, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю.

— Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать с своими солдатами умею не хуже другого, — сказал он и с одною дивизией пошел вперед.

Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь и с одною дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что ему было нужно в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его стояла несколько времени без пользы под огнем.

VII.

Между тем с фронта другая колонна должна была напасть на французов, но при этой колонне был Кутузов. Он знал хорошо, что ничего кроме путаницы не выйдет из этого против его воли начатого сражения и, насколько то было в его власти, удерживал войска. Он не двигался.

Кутузов молча ехал на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предложения атаковать.

— У вас всё на языке атаковать, а не видите, что мы не умеем делать сложных маневров, — сказал он Милорадовичу, просившемуся вперед.

— Не умели утром взять живьем Мюрата и притти вовремя на место: теперь нечего делать! — отвечал он другому.

Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где по донесениям казаков прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он с ним не говорил еще со вчерашнего дня).

— Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услышав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла, и что Кутузов ограничится этим намеком.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.

Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:

— Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.

Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступление; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа.

Всё сражение состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.

Вследствие этого сражения, Кутузов получил алмазный знак, Бенигсен тоже алмазы и сто тысяч рублей, другие по чинам соответственно получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемещения в штабе.

«Вот как *у нас всегда* делается, все навыворот!» говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, точно так же, как говорят и теперь, давая чувствовать, что кто-то там глупый делает так навыворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие так, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя. Всякое сражение – Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое, всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие.

Бесчисленное количество свободных сил (ибо нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти) влияет на направление сражения, и это направление никогда не может быть известно вперед и никогда не совпадает с направлением какой-нибудь одной силы.

Ежели многие, одновременно и разнообразно-направленные, силы действуют на какое-нибудь тело, то направление движения этого тела не может совпадать ни с одного из сил; а будет всегда среднее, кратчайшее направление, то, что в механике выражается диагональю параллелограмма сил.

Ежели в описаниях историков, в особенности французских, мы находим, что у них войны и сражения исполняются по вперед определенному плану, то единственный вывод, который мы можем сделать из этого, состоит в том, что описания эти не верны.

Тарутинское сражение очевидно не достигло той цели, которую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции в дело войска, и той – которую мог иметь граф Орлов, взять в плен Мюрата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую могли иметь Бенигсен и другие лица, или цели офицера, желавшего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел приобрести больше добычи, чем он приобрел, и т. д. Но, если целью было то, что действительно совершилось и то, что для всех русских людей тогда было общим желанием (изгнание французов из России и истребление их армии), то будет совершенно ясно, что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразностей, было то самое, что было нужно в тот период кампании. Трудно и невозможно придумать какой-нибудь исход этого сражения, более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере, были приобретены самые большие результаты во всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого только и ожидало Наполеоновское войско для начатия бегства.

VIII.

Наполеон вступает в Москву после блестящей победы de la Moskowa; сомнения в победе не может быть, так как поле сражения остается за французами. Русские отступают и отдают столицу. Москва, наполненная провиантом, оружием, снарядами и несметными богатствами, – в руках Наполеона. Русское войско вдвое слабейшее французского, в продолжение месяца не делает ни одной попытки нападения. Положение Наполеона самое блестящее. Для того, чтобы двойными силами навалиться на остатки русской армии и истребить ее, для того чтобы выговорить выгодный мир или, в случае отказа, сделать угрожающее движение на Петербург, для того, чтобы даже, в случае неудачи, вернуться в Смоленск или в Вильну, или остаться в Москве; для того, одним словом, чтоб удержать то блестящее положение, в котором находилось в то время французское войско, казалось бы не нужно особенной гениальности. Для этого нужно было

сделать самое простое и легкое: не допустить войско до грабежа, заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившийся в Москве более чем на полгода (по показанию французских историков) провиант для всего войска. Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армиею, как утверждают историки, ничего этого не сделал.

Он не только не сделал ничего этого, но, напротив, употребил свою власть на то, чтоб из всех представлявшихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего. Из всего, что мог сделать Наполеон: зимовать в Москве, идти на Петербург, идти на Нижний Новгород, идти назад, севернее или южнее, тем путем, которым пошел потом Кутузов, ну что бы ни придумать, глупее и пагубнее того, что сделал Наполеон, т. е. оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом колеблясь оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражения, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск по разоренной Смоленской дороге – глупее этого, пагубнее для войска ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия. Пускай самые искусные стратеги придумают, представив себе, что цель Наполеона состояла в том, чтобы погубить свою армию, придумают другой ряд действий, который бы с такою же несомненностью и независимостью от всего того, что бы ни предприняли русские войска, погубил бы так совершенно всю французскую армию, как то, что сделал Наполеон.

Гениальный Наполеон сделал это. Но сказать, что Наполеон погубил свою армию потому, что он хотел этого или потому, что он был очень глуп, было бы точно так же несправедливо, как сказать, что Наполеон довел свои войска до Москвы потому, что он хотел этого, и потому, что он был очень умен и гениален.

В том и другом случае, личная деятельность его, не имевшая больше силы, чем личная деятельность каждого солдата, только совпадала с теми законами, по которым совершалось явление.

Совершенно ложно (только потому, что последствия не оправдали деятельности Наполеона) представляют нам историки силы Наполеона ослабевшими в Москве. Он точно так же, как и прежде, как и после в 13-м году, употреблял всё свое умение и силы на то, чтобы сделать наилучшее для себя и своей армии. Деятельность Наполеона за это время не менее изумительна, чем в Египте, в Италии, в Австрии и в Пруссии. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где 40 веков смотрели на его величие, потому что эти все великие подвиги описаны нам только французами. Мы не можем верно судить о его гениальности в Австрии и Пруссии, так как сведения о его деятельности там должны черпать из французских и немецких источников; а непостижимая сдача в плен корпусов без сражений и крепостей без осады должна склонять немцев к признанию гениальности как к единственному объяснению той войны, которая велась в Германии. Но нам признавать его гениальность, чтобы скрыть свой стыд, слава Богу, нет причины. Мы заплатили за то, чтоб иметь право просто и прямо смотреть на дело, и мы не уступим этого права.

Деятельность его в Москве так же изумительна и гениальна, как и везде. Приказания за приказами и планы за планами исходят из него со времени его вступления в Москву и до выхода из нее. Отсутствие жителей и депутации, и самый пожар Москвы, не смущают его. Он не упускает из виду ни блага своей армии, ни действий неприятеля, ни блага народов России, ни управления делами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.

IX.

В военном отношении, тотчас по вступлении в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастиани следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным

дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля; потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив так же подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров.

В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома.

В отношении административном, Москве дарована конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:

«Жители Москвы!

«Несчастья ваши жестоки, но Его Величество Император и Король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возратить общую безопасность. Отечественная администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оно будет пеших об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки».

«Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а чрез ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров или полицмейстеров и 20 комиссаров или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтоб они в них находили помощь и покровительство, следуемые несчастью. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возратить порядок и облегчить ваше положение; но чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастья, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежная и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастья государства, живите как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут».

В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву *à la maraude*⁶⁵ для заготовления себе провианта, так чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время.

В отношении религиозном, Наполеон приказал *ramener les popes*⁶⁶ и возобновить служение в церквях.

В торговом отношении и для продовольствия армии, было развешено везде следующее.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ.

⁶⁵ [мародерствовать]

⁶⁶ привести назад попов

«Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастья удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте! Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстанавливается. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насилие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его величество император и король их покровительствуют и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелениям. Он хочет прекратить ваши несчастья и вернуть вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте же его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители! Возвращайтесь с доверием в ваши жилища: вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам! Ремесленники и трудолюбивые мастеровые! Приходите обратно к вашим рукоделиям: дома, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату! И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтоб обеспечить им свободную продажу: 1) Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду они ни были, в двух назначенных лабазах, т. е. на Моховую и в Охотный ряд. 2) Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою; но ежели продавец не получит требуемую им справедливую цену, то продавец волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. 3) Каждое воскресенье и среда назначены еженедельно для больших, торговых дней; почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтоб защищать те обозы. 4) Таковые же меры будут взяты, чтоб на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. 5) Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были! Вас призывают исполнять отеческие намерения его величества императора и короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами!»

В отношении поднятия духа войска и народа, беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей; и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры.

В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, Наполеон тоже делал всё, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать *Maison de ma mère*,⁶⁷ соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил Воспитательный Дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалование своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами. *Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digne de lui et de l'armée Française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés à des étrangers la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors, et il leur fit distribuer des roubles papiers.*⁶⁸ В отношении дисциплины армии, беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.

⁶⁷ Дом моей матери,

⁶⁸ Возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособия поголовным. Но так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и по большей части враждебно расположенным, Наполеон считал лучшим дать им денег, чтоб они добывали себе продовольствие на стороне;

Х.

Но странное дело, все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других издаваемых в подобных же случаях, не затрагивали сущности дела, а как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес.

В военном отношении, гениальный план кампании, про который Тьер говорит: *que son génie n'avait jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable*⁶⁹ и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г-м Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4-му, а к 15-му октября, план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Укрепление Кремля, для которого надо было скрыть *la Mosquée*⁷⁰ (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремль только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, т. е. чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которое так озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли 60-ти тысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и кажется тоже гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту 60-ти тысячную русскую армию.

В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости, и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство.

В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей, сгорела другая половина Москвы.

В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете и, под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранившим свое от грабежа.

В отношении религиозном, дело так легко устроенное в Египте посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник: *Le prêtre, que j'avais découvert et invité à recommencer à dire la messe, a nettoyé et fermé l'église. Cette nuit on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, déchirer les livres et commettre d'autres désordres.*⁷¹

В торговом отношении, на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их.

В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно так же не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же закрылись, потому, что актрисы и актеры были ограблены.

Благотворительность, и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые и не фальшивые ассигнации наполняли Москву, и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так мило-

и он приказал оделять их бумажными рублями.

⁶⁹ гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного

⁷⁰ [Мечеть]

⁷¹ Священник, которого я нашел и пригласил начать служить обедни, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспорядки.

ство раздавал несчастным, не имели цены, но и серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото.

Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время, было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину.

Вот что доносили чины армии.

«Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркитанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи.

«La partie de mon arrondissement continue à être en proie au pillage des soldats du 3 corps, qui, non contents d'arracher aux malheureux réfugiés dans des souterrains le peu qui leur reste, ont même la réfocité de les blesser à coups de sabre, comme j'en ai vu plusieurs exemples».

«Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Le 9 octobre».

«Le vol et le pillage continuent. Il y a une bande de voleurs dans notre district qu'il faudra faire arrêter par de fortes gardes: Le 11 octobre».⁷²

«Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающиеся в Кремль. В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнаванием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, должныствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били».

«Le grand maréchal du palais se plaint vivement», писал губернатор «que malgré les défenses réitérées, les soldats continuent à faire leurs besoins dans toutes les cours et même jusque sous les fenêtres de l'Empereur».⁷³

Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве.

Но оно не двигалось.

Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотре полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало всё войско.

Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой всё, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный trésor.⁷⁴ Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своею опытностью войны, не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве; он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых.

Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры и цели Наполеона и его войска, со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска, всё равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненого животного. Очень

⁷² Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат 3-го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрытавшихся в подвалы, но еще и с жестокостию наносят им раны саблями, как я сам много раз видел. Ничего нового, только что солдаты позволяют себе грабить и воровать 9-го октября. Воровство и грабеж продолжают. Существует шайка воров в нашем участке, которую надо будет остановить сильными мерами. 11-го октября.

⁷³ Обер-церемониймейстер дворца сильно жалуется на то, что, несмотря на все запрещения, солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами Императора.

⁷⁴ [сокровище.]

часто раненое животное, слышав шорох, бросается на выстрел на охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего своего войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся опять назад, и наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу.

Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения, (как диким фигура вырезанная на носу корабля представлялась силою руководящею корабль), Наполеон во всё это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.

XI.

6-го октября, рано утром, Пьер вышел из балагана и, вернувшись назад, остановился у двери, играя с длинною, на коротких, кривых ножках, лиловою собаченкой, вертевшеюся около него. Собаченка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым, но иногда ходила куда-то в город, и опять возвращалась. Она вероятно никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела никакого названия. Французы звали ее Азор, солдат-сказочник звал ее Фемгалкой, Каратаев и другие звали ее Серый, иногда Вислый. Непринадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собаченку. Пушной хвост панашем, твердо и кругло, стоял кверху, кривые ноги служили ей так хорошо, что часто она, как бы пренебрегая употреблением всех четырех ног, поднимала грациозно одну заднюю и очень ловко и скоро бежала на трех лапах. Всё для нее было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя с щепкой или соломенкой.

Одевание Пьера теперь состояло из грязной продранной рубашки, единственном остатке его прежнего платья, солдатских порток, завязанных для тепла веревочками на щиколках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел всё тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распушенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергическою, готовою на деятельность и отпор – подобранностью. Ноги его были босые.

Пьер смотрел то вниз по полю, по которому в нынешнее утро разъездились повозки и верховые, то в даль за реку, то на собаченку, притворявшуюся, что она не на шутку хочет укусь его, то на свои босые ноги, которые он с удовольствием переставлял в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему всё то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно.

Погода уже несколько дней стояла тихая, ясная с легкими заморозками по утрам – так называемое бабье лето.

В воздухе, на солнце, было тепло, и тепло это, смешиваясь с крепительною свежестью утреннего заморозка, еще чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно.

На всем, и на дальних, и на ближних предметах, лежал тот волшебнo-хрустальный блеск, который бывает только в эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы, с деревнею, церковью и большим белым домом. И оголенные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, и зеленый шпиль церкви, и углы дальнего белого дома, всё это неестественно-отчетливо, тончайшими линиями вырезывалось в прозрачном воздухе. Вблизи виднелись знакомые разва-

лины полуобгорелого барского дома, занимаемого французами, с темнозелеными еще кустами сирени, росшими по ограде. И даже этот разваленный и загаженный дом, отталкивающий своим безобразием в пасмурную погоду, теперь, в ярком, неподвижном блеске, казался чем-то успокоительно-прекрасным.

Французский капрал, по домашнему расстегнутый, в колпаке, с коротенькою трубкой в зубах, вышел из-за угла балагана и, дружески подмигнув, подошел к Пьеру.

– *Quel soleil, hein Monsieur Kiril?* (так звали Пьера все французы). *On dirait le printemps.*⁷⁵

– И капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, несмотря на то, что всегда он ее предлагал и всегда Пьер отказывался.

– *Si l'on marchait par un temps comme celui-là...*⁷⁶ – начал он.

Пьер расспросил его, что слышно о выступлении, и капрал рассказал, что почти все войска выступают, и что нынче должен быть приказ и о пленных. В балагане, в котором был Пьер, один из солдат, Соколов, был при смерти болен, и Пьер сказал капралу, что надо распорядиться этим солдатом. Капрал сказал, что Пьер может быть спокоен, что на это есть подвижной и постоянный госпитали, и что о больных будет распоряжение, и что вообще всё, что только может случиться, всё предвидено начальством.

– *Et puis, M-r Kiril, vous n'avez qu'à dire un mot au capitaine, vous savez. Oh, c'est un... qui n'oublie jamais rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournée, il fera tout pour vous...*⁷⁷

Капитан, про которого говорил капрал, по часту и по долгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения.

– *Vois-tu, St. Thomas, qu'il me disait l'autre jour: Kiril c'est un homme qui a de l'instruction, qui parle français; c'est un seigneur russe, qui a eu des malheurs, mais c'est un homme. Et il s'y entend le..... S'il demande quelque chose, qu'il me dise, il n'y a pas de refus. Quand on a fait ses études, voyez vous, on aime l'instruction et les gens comme il faut. C'est pour vous que je dis celà, M. Kiril. Dans l'affaire de l'autre jour si ce n'était grâce à vous, ça aurait fini mal.*⁷⁸

И поболтав еще несколько времени, капрал ушел. (Дело случившееся намерении, о котором упоминал капрал, была драка между пленными и французами, в которой Пьеру удалось усмирить своих товарищей.) Несколько человек пленных слушали разговор Пьера с капралом и тотчас же стали спрашивать, что он сказал. В то время как Пьер рассказывал своим товарищам то, что капрал сказал о выступлении, к двери балагана подошел худощавый, желтый и оборванный французский солдат. Быстрым и робким движением приподняв пальцы ко лбу в знак поклона, он обратился к Пьеру и спросил его в этом ли балагане солдат *Platoche*,⁷⁹ которому он отдал шить рубаху.

С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и роздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам.

– Готово, готово, соколик! – сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой.

Каратаев, по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и черной, как земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалочкой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее.

⁷⁵ Каково солнце, а, господин Кирилл? Точно весна.

⁷⁶ В такую бы погоду в поход идти...

⁷⁷ И потом, господин Кирил, вам стоит сказать слово капитану; вы знаете... Это такой... ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход; он все для вас сделает...

⁷⁸ Вот видишь ли Тома, говорит он мне намерении, Кирил – это человек образованный, говорит по-французски; это русский барин, с которым случилось несчастье, но он человек. Он знает толк... Если ему что нужно, отказа нет. Когда учился кой-чему, то любишь просвещение и людей благовоспитанных. Это я про вас говорю, господин Кирил. Намерении, если бы не вы, то худо бы кончилось.

⁷⁹ Платош

– Уговорец – делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, – говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку.

Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из пленных не сказал ни слова.

– Вишь, в самый раз, – приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов.

– Чтò ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьешь, – говорил Платон, кругло улыбаясь и видимо сам радуясь на свою работу.

– *C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste*,⁸⁰ – сказал француз.

– Она еще ладнее будет, как ты на тело-то наденешь, – говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. – Вот и хорошо и приятно будет...

– *Merci, merci, mon vieux, le reste?..* – повторил француз, улыбаясь и, достав ассигнацию, дал Каратаеву, – *mais le reste...*⁸¹

Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, чтò говорил француз, и, не вмешиваясь, смотрел на них. Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.

– На чтò же ему остатки-то? – сказал Каратаев. – Нам подверточки-то важные бы вышли. Ну, да Бог с ним. – И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи сверточек обрезков, и не глядя на него, подал француз. – Эх ма! – проговорил Каратаев и пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что-то сказал ему:

– *Platoche, dites donc, Platoche*, – вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. – *Gardez pour vous*,⁸² – сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушел.

– Вот поди ты, – сказал Каратаев, покачивая головой. Говорят нехристи, а тоже душа есть. – То-то старички говаривали: потная рука таровата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же. – Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. – А подверточки, дружок, важнеющие выдут, – сказал он и вернулся в балаган.

ХII.

Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в который поступил с первого дня.

В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек; но, благодаря своему сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое положение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, чтò так поразило его в солдатах в Бородинском сражении – он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он

⁸⁰ Хорошо, хорошо, спасибо, а полотно где, что осталось?

⁸¹ Спасибо, спасибо, любезный, а остаток-то где?.. Остаток-то давай.

⁸² Платош, а Платош. Возьми себе.

искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что всё это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. «России да лету – союзу нету», повторял он слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дело до того, что эта женщина вела там где-то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, в особенности ему, какое дело было до того, что узнают или не узнают, что имя их пленного было граф Безухов?

Теперь он часто вспоминал свой разговор с князем Андреем и вполне соглашался с ним, только несколько иначе понимая мысль князя Андрея. Князь Андрей думал и говорил, что счастье бывает только отрицательное, но он говорил это с оттенком горечи и иронии. Как будто, говоря это, он высказывал другую мысль – о том, что все вложенные в нас стремления к счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить нас. Но Пьер без всякой задней мысли признавал справедливость этого. Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, т. е. образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем человека. Здесь, теперь только, в первый раз Пьер вполне оценил наслаждение еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей – хорошая пища, чистота, свобода – теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастьем, а выбор занятия, т. е. жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает всё счастье удовлетворения потребностей, а большая свобода выбора занятий, та свобода которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо-трудным, и уничтожает самую потребность и возможность занятия.

Все мечтания Пьера теперь стремились к тому времени, когда он будет свободен. А, между тем, впоследствии и во всю свою жизнь, Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время.

Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидел сначала темные купола, кресты Новодевичьего монастыря, увидел морозную росу на пыльной траве, увидел холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услышал звуки летевших из Москвы через поле галок и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, всё заиграло в радостном свете, – Пьер почувствовал новое, неиспытанное чувство радости и крепости жизни.

И чувство это не только не покидало его во всё время плена, но напротив возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения.

Чувство этой готовности на всё, нравственной подобранности, еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое, вскоре по его вступлении в балаган, установилось о нем между его товарищами. Пьер с своим знанием языков, с тем уважением, которое ему оказывали французы, с своею простотой, отдававший всё, что у него просили (он получал офицерские три рубля в неделю), с своею силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в

стену балагана, с кротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, с своею непонятною для них способностью сидеть неподвижно и, ничего не делая, думать, представлялся солдатам несколько таинственным и высшим существом. Те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него, если не вредны, то стеснительны, – его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота, здесь, между этими людьми, давали ему положение почти героя. И Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его.

ХIII.

В ночь с 6-го на 7-е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни, балаганы, укладывались повозки, и двигались войска и обозы.

В семь часов утра конвой французов, в походной форме, в киверах, с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял перед балаганами, и французский, оживленный говор, пересыпаемый ругательствами, перекатывался по всей линии.

В балагане все были готовы, одеты, подпоясаны, обуты и ждали только приказания выходить. Больной солдат Соколов, бледный, худой, с синими кругами вокруг глаз, один, не обутый и не одетый, сидел на своем месте, и выкатившимися от худобы глазами вопросительно смотрел на не обращающих на него внимания товарищей и не громко и равномерно стонал. Видимо не столько страдания – он был болен кровавым поносом – сколько страх и горе оставаться одному, заставляли его стонать.

Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки.

– Что ж, Соколов, они ведь не совсем уходят! У них тут гошпиталь. Может, тебе еще лучше нашего будет, – сказал Пьер.

– О Господи! О смерть моя! О Господи! – громче застонал солдат.

– Да я сейчас еще спрошу их, – сказал Пьер и, поднявшись, пошел к двери балагана. В то время, как Пьер подходил к двери, снаружи подходил с двумя солдатами тот капрал, который вчера угощал Пьера трубкой. И капрал, и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застегнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.

Капрал шел к двери с тем, чтобы по приказанию начальства затворить ее. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.

– *Caporal, que fera-t-on du malade?*...⁸³ – начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.

«Вот оно!.. Опять оно!» сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.

⁸³ Капрал, что с больным делать?..

Когда двери балагана отворились, и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперед их и подошел к тому самому капитану, который, по уверению капрала, готов был всё сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже «оно», которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.

– Filez, filez,⁸⁴ – приговаривал капитан, строго хмурясь и глядя на толпившихся мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасна, но подошел к нему.

– Eh bien, qu'est ce qu'il y a? – холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал офицер. Пьер сказал про больного.

– Il pourra marcher, que diable! – сказал капитан. – Filez, filez, – продолжал он приговаривать, не глядя на Пьера.

– Mais non, il est à l'agonie... – начал было Пьер.

– Voulez vous bien!?!⁸⁵ – злобно нахмурившись, крикнул капитан.

Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить еще что-нибудь было бесполезно.

Пленных офицеров отделили от солдат, и велели им идти впереди. Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек 30, солдатов человек 300.

Пленные офицеры, выпущенные из других балаганов, были все чужие, были гораздо лучше одеты, чем Пьер, и смотрели на него, в его обуви, с недоверчивостью и отчужденностью. Недалеко от Пьера, шел видимо пользующийся общим уважением своих товарищей пленных толстый майор в казанском халате, подпоясанный полотенцем, с пухлым, желтым, сердитым лицом. Он одну руку с кيسетом держал за пазухой, другою опирался на чубук. Майор, пыхтя и отдуваясь, ворчал и сердился на всех за то, что ему казалось, что его толкают и что все торопятся, когда торопиться нёкуда, все чему-то удивляются, когда ни в чем ничего нет удивительного. Другой маленький, худой офицер со всеми заговаривал, делая предположения о том, куда их ведут теперь, и как далеко они успеют пройти нынешний день. Чиновник, в валеных сапогах и комиссариатской форме, забегал с разных сторон и высматривал сгоревшую Москву, громко сообщая свои наблюдения о том, что сгорело и какая была та или эта видневшаяся часть Москвы. Третий офицер, польского происхождения по акценту, спорил с комиссариатским чиновником, доказывая ему, что он ошибался в определении кварталов Москвы.

– О чем спорите? – сердито говорил майор. – Николы ли, Власа ли, всё одно; видите, всё сгорело, ну и конец... Что толкаетесь-то, разве дороги мало, – обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его.

– Ай, ай, ай, что наделали! – слышались однако то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарища. И Замоскворечье-то, и Зубово, и в Кремле-то... Смотрите, половины нет. Да я вам говорил, что всё Замоскворечье, вон так и есть.

– Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать! – говорил майор.

Проходя через Хамовники (один из немногих, несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и слышались восклицания ужаса и омерзения.

– Ишь мерзавцы! То-то нехристи! Да мертвый, мертвый и есть... Вымазали чем-то.

Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызывало восклицания, и смутно увидел что-то прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что-то был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей.

⁸⁴ Проходите, проходите.

⁸⁵ – Ну, что еще? – Он пойдет, чорт возьми! – Проходите, проходите. – Да нет же, он умирает... – Поди ты к...

– *Marchez, sacré nom... Filez... trente mille diables...*⁸⁶ – слышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесачами толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.

XIV.

По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в средину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.

У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдаль, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набережной и через Каменный мост тянулись войска и обозы Нея.

Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.

Пройдя Крымский брод, пленные двигались по несколько шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди всё больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые, сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, слившийся в его воображении с звуками барабана.

Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.

– Народу-то! Эка народу!.. И на пушках-то навалили! Смотри: меха... – говорили они. – Вишь, стервецы, награбили... Вон у того-то сзади, на телеге... Ведь это – с иконы, ей Богу!.. Это немцы должно быть. И наш мужик, ей Богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь навьючился-то, насилу идет! Вот-те на, дрожки и те захватили!.. Вишь уселся на сундуках-то. Батюшки!.. Подрались!..

– Так его по морде-то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите... а это верно самого Наполеона. Видишь, лошади-то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались... Женщина с ребеночком и не дурна. Да, как же, так тебя и пропустят... Смотри, и конца нет. Девки русские, ей Богу девки! В колясках ведь как покойно уселись!

⁸⁶ Иди! иди! Черти! Дьяволы!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.